



Г. П. ГЕОРГИЕВСКИЙ

Из воспоминаний о Николае Федоровиче

(К 40 дню кончины)

I

С Николаем Федоровичем я познакомился в Румянцевском музее. Время нашего знакомства было для него, к сожалению, уже последнею третью его жизни, однако самую замечательную, достопамятную, как потому, что в эти годы окончательно сложился его высокий нравственный облик и окончательно созрело его глубочайшее миросозерцание, так и потому, что именно в Румянцевском Музее во всей силе сказалось его самоотверженное неподражаемое *служение* ближним всеми силами и способами его богато одаренной и христиански воспитанной природы.

Собственно говоря, в ряду московского населения он был чиновником, но его цельная природа не проводила грани между частною жизнью и чиновничьею службой. Вся его жизнь и на квартире, и в Музее была сплошным и цельным проявлением его духовного склада, и потому я особенно настаиваю на характеристике его жизни как *служения*, из-за которого совсем не было видно ни личной жизни Николая Федоровича, ни службы его, понимаемых в обычном смысле.

Мало того, я скажу даже гораздо больше: ничего *обычного* ни в жизни, ни во взглядах Николая Федоровича не было. Так он был своеобразен во всем, так ничем не напоминал обыкновенных людей, что при встрече и знакомстве с ним поневоле становились в тупик люди особенно выдающиеся и особенно оригинальные. Николай Федорович поражал в этом отношении и всех простых смертных, и даже таких, например, оригиналов, как граф Л. Н. Толстой или В. С. Соловьев. Все в нем было свое, и ни в чем он не походил на рядовых смертных, начиная со внешности, продолжая привычками и приемами жизни и оканчивая мировоззрением.

Большинство знакомств с Николаем Федоровичем происходило на почве занятий в Румянцевском Музее. Каждый, серьезно зани-

мавшийся в известной отрасли науки и пользовавшийся книжными богатствами Музея, неизбежно в конце концов обращался за помощью к Николаю Федоровичу. И надо сказать, что помощь эта приходила гораздо раньше, чем человек сознавал необходимость ее и необходимость личного знакомства с Николаем Федоровичем.

Обыкновенно дело происходило весьма просто. Изучая тот или другой научный вопрос, требуя чуть не ежедневно новых и новых книг, посетитель читального зала Музея, начинал, к удивлению своему, замечать, что в кипе потребованных им книг чья-то благодетельная рука подкладывала еще две-три книги, которых он совсем не требовал, о существовании которых и не подозревал. А между тем содержание этих неожиданных книг прямо отвечало на поставленную им себе задачу.

При повторении этой приятной неожиданности каждый, естественно, заинтересовывался виновником подобных сюрпризов, и в ответ на свое любопытство неизменно слышал краткое и мало понятное для незнакомого человека заявление:

— Это вам прислал Николай Федорович...

Новые книжки освещали вопрос совсем с новых, часто неожиданных и непредвиденных сторон и точек зрения. Вопрос сам собою углублялся, изучение затягивалось, требовались и присылались все новые и новые книги, и, наконец, совсем зарывшийся ученый неизменно получал приглашение:

— Вас просят к себе Николай Федорович...

Тут уж завязывалось личное знакомство с Николаем Федоровичем, с тем, чтобы потом уже никогда не прерываться и служить постоянным и неисчерпаемым источником не только для всестороннего изучения тех или других специальных вопросов, но нередко для выработки и создания целого мирозерцания.

Для выяснения не для всех понятной возможности таких знакомств посетителей читального зала Румянцевского Музея необходимо сказать, что Николай Федорович служил в Музее дежурным чиновником при читальном зале, заведовавшим каталожной. Всякое требование на книги непременно передавалось ему в руки, и он назначал книги на каждое требование, а затем, убедившись, что к каждому требованию подысканы именно те книги, какие нужны, самолично отправлял их в читальный зал. Мимо Николая Федоровича не проходило ни одно требование на книги, и без его предварительного просмотра не выдавалась ни одна книга в читальный зал. Ему известно было каждое требование, но, разумеется, в число его обязанностей служебных вовсе не входило определение по этим требованиям вопроса, интересовавшего читателя, степени его подготовленности к занятиям этим вопросом и характера его осведомленности в нем, а тем более служба не обязывала его помогать, так как его об этой помощи не просили.

Николай Федорович по тем требованиям на новые книги, какие подают в читальном зале посетители, сразу узнавал серьезного работника, и тогда уже он заглазно всею душой привязывался к этому человеку и старался быть полезным ему, чем только мог.

А содействие его в этом отношении было беспримерно драгоценным. Он был прямо исключительным библиоманом и библиографом. Он знал как свои пять пальцев всю библиотеку Румянцевского Музея, и очень часто для него было легче и скорее взять нужную книгу прямо с полки, чем отыскивать ее при помощи каталога.

Конечно, и время, и любовь к книжному делу помогают со временем освоиться и с огромными и богатыми библиотеками. Удивительны и совсем редки библиоманы, знающие *по корешкам и названиям* все книги обширных библиотек. Но едва ли какая-нибудь библиотека, кроме Румянцевского Музея, могла похвалиться исключительно честью иметь библиотечкарем человека, знающего *содержание* своих книг. А Николай Федорович знал содержание книг Румянцевского Музея, и это было прямо невероятным явлением. Если вы сказали ему свой вопрос или свою задачу, он мог буквально закидать вас печатным материалом. Если вы у него спрашивали несколько книг, он безошибочно определял предмет ваших изысканий, зная наперед во всех подробностях все содержимое каждой потребованной вами книги.

Удивительно было также то, что не было вопроса, который был бы для него нов и незнаком, или который не был бы близок его сердцу. Буквально во всем он шел всегда впереди общепризнанных авторитетов и специалистов, и буквально не было вопроса, к которому, даже самому на первый взгляд маленькому, он не относился бы с таким же интересом и с такою же теплотой, как и к самым коренным основам знания и веры¹.

Насколько разнообразны были те области знания, в которых Николай Федорович руководил специалистов, это лучше всего видно из примеров.

Из лиц, близких «Московским ведомостям», я назову покойного В. Л. Величко и ныне здравствующего Черномора². Величко был поражен богатством всяких познаний у Николая Федоровича по Востоку и восточным вопросам. История Востока была отлично известна ему во всех подробностях. Национальным особенностям многочисленных племен Востока он придавал особый глубокий смысл и всю историю их одухотворял возвышенными задачами не покорения и войны, а объединения и мира. Величко с восторгом слушал этого удивительного знатока восточных дел, любил проводить с ним длинные вечера и никогда не позволял себе проехать мимо Музея при своих частных поездках, особенно с Кавказа и на Кавказ.

Черномор — живой человек и сам может засвидетельствовать как огромные познания Николая Федоровича в специальной обла-

сти морского и военного дела, так и своеобразность взглядов его в этой области, а также ту огромную пользу, какую он приносил всем серьезно занимающимся своим делом.

Если ко всему этому прибавить постоянную готовность Николая Федоровича отзываться по первому же зову, от кого бы он ни исходил, и сердечное его участие ко всякой просьбе и во всякой нужде, то станет совершенно понятным тот факт, что целыми днями он был завален работой для других и никому не отказывал ни в чем, если видел серьезную и действительную потребность. Если, например, в библиотеке не было просимой книги, он предлагал заменить ее несколькими другими однородного содержания. Но бывали и такие случаи, удовлетворительное разрешение которых было посильно только Николаю Федоровичу. Требовали, например, сочинение известного автора. По самым точным справкам оказывалось, что этот автор не выпускал в свет просимого сочинения. Оставался еще нерешенным вопрос: если такое сочинение никогда не издавалось, то не было ли такой статьи? Но в каком журнале, в каком году?

Вот тут-то и был незаменим Николай Федорович. Для него не было затруднения сразу же определить, требуется отдельное ли издание или статья известного автора. И конечно, каждую статью он безошибочно знал, в каком журнале и в каком году она была напечатана.

Это была прямо живая энциклопедия в самом лучшем значении этого слова, и, кажется, не было предела его памяти.

Помню, один церковный канонический вопрос требовалось в 1892 году подкрепить ссылками на современную практику. Николай Федорович не задумался и двух минут, чтоб указать на источники требуемых сведений.

— Посмотрите «Московские ведомости» 185... года; тогда Пасха была 2 апреля; в пасхальном нумере найдете распоряжение митрополита Филарета по интересующему вас вопросу. А в «Литовских епархиальных ведомостях» № такой-то 189... года, по поводу местной практики, вопрос разрешен сравнительно-историческим методом очень удовлетворительно, можно сказать, всецело исчерпан.

В начале девяностых годов, я помню, ехала партия инженеров на изыскание Сибирского железного пути и, проезжая Москву, заглянула в Румянцевский Музей, конечно, для очистки совести, а вовсе не уверенная в возможности найти здесь что-либо для себя новое и интересное. В подобных случаях, когда кто-нибудь обращался в библиотеку с просьбой указать книги, имеющиеся по известному вопросу, или за какими-нибудь советами при книжных занятиях, его неизменно направляли к Николаю Федоровичу. К нему же привели и инженеров.

После очень недолгого разговора инженеры услышали название такого описания Сибири, о котором раньше и не подозревали. Взаимно заинтересованные, обе стороны стали выкладывать друг перед другом свои географические познания. Николай Федорович попросил показать предварительный проект их пути, который они везли с собою, и сразу заметил два упущения на карте: в одном месте неверно была показана высота горы, а в другом совсем пропущен был большой ручей. Инженеры хотя и неуверенно, но все-таки спорили и стояли за верность своей карты. Однако на возвратном пути, года через два, партия прислала одного своего сочлена к Николаю Федоровичу засвидетельствовать ему свое уважение и сказать ему, что он был безусловно прав.

II

Впервые увидя Николая Федоровича, нельзя было не подивиться его скромности и даже убожеству его костюма. Он всегда одевался во все крайне ветхое. Его одежда не знала за собою никакого ухода. Очень долго он ходил в одном и том же стареньком летнем одностороннем пальто, в конце концов оставшемся при одной пуговице на самом верху. На шее у него всегда был повязан черный платок. Такой роскоши, как жилет или крахмальная рубашка с галстуком, у него никогда не было. Ничего не имел он и для перемены. На голове он носил сначала большой суконный картуз с широким дном и длинным козырьком, а потом у него явилась драповая круглая шапочка. В холодную погоду он надевал драповое пальто, по-видимому бывшее когда-то теплым и на вате, и резиновые калоши и закрывался нередко с головой стареньким пледом.

Тем не менее его наружность сразу же выдавала его добровольную и сознательную нищету.

Согбенная и изможденная старческая фигура его, среднего роста, с подогнувшимися коленами, увенчивалась открытым, выразительным, продолговатым лицом, обрамленным седею четырехугольною бородой. Большая голова с значительною лысиной украшалась длинными кудрявыми волосами. Особенно очаровательны были черные, блестящие глаза под большим открытым лбом. Совершенно правильные, без сомнения, когда-то красивые черты его лица и пронизательные глаза носили на себе ясную печать ума, энергии и огромной силы воли. Ото всей фигуры его веяло сознательным, тяжелым подвижничеством, добровольно подъятым не ради оригинальности и известности, но ради самовоспитания, во имя высших задач и стремлений. И эта, всем ясная, печать высокого духа сразу же выбивалась из-под убогого покрыва и увлекала каждого, заставляя забыть и не видеть того, на что никогда не смотрел и сам Николай Федорович.

В глазах Николая Федоровича не имели решительно никакой цены материальные приобретения и всякие внешние блага. Если по какой-нибудь причине у него в кармане оказывались деньги, он положительно не знал, что с ними делать. Бранил их, называл проклятыми и рад был отделаться от них каким бы то ни было способом. Собственности он не признавал и не имел решительно никакой. Даже книги, которые дарили ему признательные авторы, он сейчас же раздавал другим. Нечего и говорить, что он не имел никакого имущества в форме запасов одежды, белья, кровати, сундука или чего-нибудь подобного. Он с полным правом мог сказать: *omnia mea mecum porto*³.

Жизнь его слагалась весьма просто. В Музее он получал 33 рубля ежемесячного жалованья и из них 8 рублей в месяц тратил на себя: 5 рублей за угол и 3 рубля на харчи, то есть на чай с баранками. Отсюда же он выделял еще рубля полтора на библиотеку, из которой брал книги с собой на квартиру (не Румянцевскую, а какую-нибудь частную и платную). Остальные деньги он в тот же день, когда получал, раздавал без остатка своим пенсионерам, которых у него всегда было много и которые по двадцатым числам являлись за пенсией к нему в Музей. До другого дня у него уже ничего не оставалось, и если какой-нибудь бедняк опаздывал и приходил за пенсией 21 числа, ему жестоко доставалось от Николая Федоровича. Николай Федорович сердился на то, что могли думать, будто он бережет деньги.

— Где же я возьму денег? — говорил Николай Федорович. — Или вы думаете, что я берегу эту пакость?..

Однажды за помощью пришел к нему какой-то бедняк безо времени и, несмотря на отказ Николая Федоровича, все-таки всунул ему в руку какую-то записку, желая, по-видимому, этим решительным аргументом расположить его в свою пользу.

Каково же было изумление Николая Федоровича, когда он увидел, что эта записка была собственноручным письмом к нему графа Л. Н. Толстого, который просил Николая Федоровича дать что-нибудь на пропитание подателю письма!..

— Богатому барину нечего подать нищему!.. Вот она, великая ложь!..⁴

Квартирная «обстановка» Николая Федоровича не поддается описанию: у него «в углу» или «в комнате» *ничего* не было... Он спал на хозяйском сундуке ровно в аршин длиной, так что на его «постели» не помещалось даже туловище, а голову и ноги совсем было некуда девать. Само собою разумеется, что постель была голая, без подушки, без перинки, без одеяла... Как-то раз на сундучке у Николая Федоровича завелся «коврик».

Граф Л. Н. Толстой сейчас же заметил такую роскошь и не преминул похвалить квартиру:

— Вот как хорошо у вас, Николай Федорович: коврик...

— Что же коврик? Коврик хозяйский. Ведь я его снимаю за деньги...

Однако Николай Федорович вовсе не рисовался своею скромностью и всегда чрезвычайно не любил, когда ее замечали или на нее заглядывались. Он всегда отводил любопытствующие взоры в сторону более достойную внимания, или же просто не показывался. Покойный директор Музея В. А. Дашков очень хотел уже в последние свои годы посмотреть на Николая Федоровича.

Николай Федорович, слышав отдаленный шум торжественного шествия по Музею чуть ли не всех чинов за своим директором, моментально исчез из каталожной и спрятался за книжными шкафами на галерее. В. А. Дашкову удалось только поздороваться и поговорить с Николаем Федоровичем, но видеть его не пришлось, так как не могли вызвать его из засады и заставить показаться хотя бы с высоты галереи⁵.

То же самое Николай Федорович проделывал при всех торжественных случаях и посещениях Музея; он прятался за шкафами в двухэтажных библиотеках, давая, однако, вид, будто роется в книгах и разыскивает что-то, как это было и во время предыдущего случая.

Но те, кто беседовал с ним лицом к лицу, невольно заглядывались на его внешность. Однажды загляделся на костюм Николая Федоровича и граф Л. Н. Толстой, сам пришедший уже в блузе и простых сапогах. Николай Федорович заволновался и спросил:

— Что вы так на меня смотрите? Или *перещеголять* хотите?..

Из-за этой внешности бывали и недоразумения, особенно в провинции, куда Николай Федорович уезжал каждое лето. Он имел чин коллежского асессора, и провинциальная полиция, обиженная табелью о рангах, не хотела верить, чтобы чиновник в этом ранге мог существовать в таком скромном виде, и подозревала в Николае Федоровиче самозванца. Требовалось разъяснение музейского начальства для успокоения излишней подозрительности⁶.

В последние годы его жизни, когда он, по выходе в отставку в 1898 году, стал получать пенсию в 17 р. 50 коп. в месяц и плату по найму по 25 руб. в месяц⁷, у него по нескольку дней стали задерживаться деньги, и он прямо не знал, что с ними делать: так много собиралось их сразу и сумма их так превышала его обычный расходный бюджет. Раздать их в один день, как бывало прежде, он уже не успевал. Деньги по дням лежали в кармане и даже по кончине его осталось семь рублей. И это очень огорчало Николая Федоровича. Лежа на смертном одре, он был озабочен их присутствием при нем. Но обычные расходы все были погашены, девать оставшуюся сумму было положительно некуда, и он, в сознании своего бессилия и неумения одолеть это зло, бранился:

— Остались, проклятые...

III

Как ни тяжел был подвиг добровольной нищеты, Николай Федорович нес его с удивительным благодушием и постоянством. Можно сказать, что он превозмог и одолел все плотские страсти и потребности, и был весь одухотворен. Поражала легкость в этом семидесятилетнем старце, с какою он переносил всю тяжесть своих трудов.

В Музей он неизменно приходил в 8 часов утра и оставался в нем до 5 часов дня — и так круглый год. В продолжение этих девяти часов он не только не принимал никогда никакой пищи, но даже не давал себе покоя от естественной усталости: он все время был на ногах, и никакие просьбы и усилия не могли заставить его присесть. В последние годы у него стали болеть ноги, открылись на них раны, но и при этом он ни разу не сел в Музее. Он позволял себе только в этот раз становиться на колена на стуле, который стоял у каталога. Копаясь в каталоге, он и становился на колена на этом стуле. Больших нежностей он себе не позволял. И все-таки он дожил до почтенного возраста, прожил больше восьми десятков лет⁸ и скончался не от старчества и не от изнеможения, а от простуды, от воспаления легких.

Веда такую подвижническую жизнь, он имел в виду исключительно служение ближним на своем специальном деле в Музее и был всегда весьма чувствителен к отношениям к нему начальников и окружающих. Разумеется, он не искал ни наград, ни похвал. Когда однажды В. А. Дашков предложил ему повышение по службе, он искренно обиделся, считая себя совершенно удовлетворенным своим настоящим положением. Дашков оправдывался своим уважением к Николаю Федоровичу и искренним желанием сделать ему приятное. Тогда Николай Федорович поймал его на слове и уже со своей стороны попросил повышения для одного из служащих в Музее, на что этот последний никак не мог рассчитывать!⁹ И Дашков с удовольствием исполнил просьбу Николая Федоровича.

Но Николай Федорович желал, чтобы никто не мешал ему жить и служить по его собственному усмотрению, и малейшее препятствие, конечно невольное, принимал как *casus belli*¹⁰, как намек на то, что служба его стала ненужна.

Случалось, к сожалению, не раз, что к 8 часам утра, ко времени прихода Николая Федоровича в Музей, на дверях Музея еще висел замок. Молча и спокойно Николай Федорович поворачивал назад, покупал в лавочке лист белой бумаги и ко времени официального открытия Музея, в 10 часов, в канцелярии уже лежало его прошение об отставке. В таких случаях стоило больших усилий и со стороны сослуживцев, и со стороны почитателей Николая Федоровича разубедить его и заставить снова вернуться к своему делу. Лишь

воочию убедившись в массе неудовлетворенных требований на книги из читального зала, за неумением разыскать их, он возвращался. Директора Музея также ценили Николая Федоровича и дорожили его службой. На одном прошении об отставке Николая Федоровича, еще в 1880 году, покойный В. А. Дашков написал:

«Попросить от меня Николая Федоровича не оставлять своей полезной службы при Музеях. Я всегда готов, по мере сил, ходатайствовать о вознаграждении г. Федорова»¹¹.

Разумеется, никакого особого вознаграждения ему не нужно было, и Николай Федорович просьбу об отставке заменил просьбой об отпуске. И на этом прошении Дашков написал:

«Согласен, хотя всегда усердная служба г. Федорова, соединенная с знанием дела, необходима в настоящее время; но, не желая останавливать поездку, я бы только просил скорее, по возможности, возвратиться»¹².

Разумеется, со временем обаяние Николая Федоровича все увеличивалось, и наилучшим признанием того, как все дорожили им, служит следующий случай.

Зимой голодного 1891–92 года Николай Федорович прочел в английских газетах известное письмо графа Л. Н. Толстого. Надо сказать, что Николай Федорович не придавал никакой цены новейшему творчеству графа и все его философские, нравственные и политические взгляды и сочинения считал ниже всякой критики. Вся толстовскую философию он метко назвал «неделанием» и убедительно развил все ее отрицательные стороны, за отсутствием хотя бы одной положительной, созидательной. Но письмо по поводу голода превысило меру его долготерпения. В этом письме он увидел не семена только страшной для него «розни», но и открытую ненависть, вражду, неправду, а это зло для него было уже нестерпимо. Вскоре в Музей пришел и сам граф. Николай Федорович, нечаянно столкнувшись с ним в коридоре, резко отказался от встречи и знакомства с ним, не подал руки и ушел от графа, не простившись. Граф на этот раз не послушался своей философии, обиделся и ходил жаловаться на Николая Федоровича к директору Дашкову¹³. Дашков хорошо понял всю соль жалобы проповедника «непротivления злу», и, разумеется, Николай Федорович не был наказан, а косвенно получил признательность за верную, более раннюю, оценку толстовской лжи.

Я подчеркиваю эту характеристику, так как она принадлежит самому Николаю Федоровичу. Николай Федорович называл графа «великим лжецом», который, всю жизнь прожив с женой и прижив тринадцать детей, пресытившись, начал проповедовать в духе «Крейцеровой сонаты»; который наживает огромные капиталы за свои сочинения и пишет против богатства; который томит и изнуряет наборщиков, заставляя их набирать свои сочинения, и пишет против наемного труда и т. д.

IV

Мы подходим к самому главному, самому драгоценному в Николае Федоровиче, это — к его нравственному и философскому мировоззрению. По счастью, сохранились все его писания и находятся в надежных руках. Надо желать, чтобы они поскорее увидели свет, и не в пересказах и изложении, а в своем цельном и нетронутом виде. Поэтому подождем, когда заговорит наконец сам Николай Федорович.

Теперь же я считаю необходимым прежде всего установить, что он был истинно русский и истинно православный человек, свято чтивший всю совокупность церковного учения и быта, во всей их целостности и неприкосновенности. Он дорожил в Православной Церкви каждым ее обрядом и установлением так же, как и догматом, видя в них сокровенный смысл, отображение высокого ее учения.

Центром нравственной философии Николая Федоровича было учение о всеобщем братстве и о всеобщей и дружной борьбе со злом и со слепой силой природы. В этой борьбе получали у него высокий смысл и значение все учреждения человеческие. Он, например, признавал постоянное значение за военной силой и боевыми средствами, но в конце концов направлял их не для борьбы людей друг с другом, а для войны всех людей против общего врага — слепой силы природы. Об этом он давно и много писал и печатал. Но он ничего не печатал под своим именем, поручая свои мысли изложить кому-либо. Известны такие статьи его о произвольном управлении человека погодой при помощи пушек и мортир¹⁴. И что же мы видим? С девяностых годов начались и опыты в разных государствах с искусственно вызываемым дождем, и опыты вполне успешные. И надо было видеть радость Николая Федоровича!

Идя далее, он приходил к убеждению об окончательной победе над злом и о всеобщем воскресении мертвых.

Глубина, ясность и логичность этой философии поражали Достоевского и Вл. С. Соловьева. Они с восторгом проводили целые часы за чтением писаний Николая Федоровича, называли его взгляды своими¹⁵ и в конце концов оба испытали на себе сильнейшее влияние взглядов Николая Федоровича. Это будет ясно, когда собственные писания Николая Федоровича увидят свет.

Впрочем, необходимо оговорить, что Николай Федорович совсем не одобрял тяготения Соловьева к Риму, в котором он видел не братство, а рабство.

Всегда лелея мечты о борьбе со злом (в этом коренное противоречие учению о непротивлении злу) всеобщими братскими силами, о труде всеобщем на общую пользу, и в отдаленном будущем провидя братство народов, Николай Федорович никак не мечтал дожить до начала осуществления своих ожиданий.

И вдруг с высоты Русского Престола раздался манифест ко всем народам о всеобщем мире, о созвании в Гаагу всех народов на конференцию!..¹⁶

Можно представить, как, с одной стороны, торжествовал Николай Федорович, видя осуществление своих заветнейших желаний, а с другой — как горячо полюбил и как высоко ценил он Священную Особу Государа Императора!

Желая ознаменовать это великое событие соответственным способом, он мечтал создать в Румянцевском Музее памятник этого события. Он предлагал водрузить в зале Музея портрет Государа Императора над статуей мира работы Кановы. Портрет должен находиться над портретом канцлера и его деда и против статуи Задунайского героя¹⁷. В развитие своей мысли он составил программу и по этой программе предлагал написать особую статью. Вот мысли Николая Федоровича¹⁸:

«Портрет, поставленный над статуей мира, имея по сторонам деятелей мира, а перед собою военного деятеля, полководца, говорящего *non solum armis*¹⁹, напоминает, или лучше сказать, говорит о таком мире, в котором нет и зародыша войны.

Нынешний мир чреват войной. Какой может быть мир, когда религия Востока владеет городом мира и городом соборов?²⁰

Не нужно забывать, что семья Румянцевых, среди которой и над которою возвышается портрет, считала, по выражению бывшего библиотекаря Румянцевского или Московского Музея, своим семейным делом, семейным преданием *Восточный вопрос*²¹, так обострившийся в наши дни.

Победитель при Ларге и Кагуле²² с надеждой смотрит на Императора, у гробов предков ищущего совета*.

Много говорит и соединенный с Румянцевским Музеем Московский Музей, хотя и забывший, что Москва есть третий Рим, второй Царьград. Не мало говорит близкий, очень близкий, хотя и не соединенный еще (к ущербу всех занимающихся в них) с ним Архив Министерства иностранных дел, которое после циркуляра 12 августа могло бы называться Министерством Международного Дела²⁴.

Постановка портрета в такой многозначачей обстановке должна назваться *молчаливым адресом*, скромным, но много говорящим, можно сказать, за всю русскую и нерусскую землю. Этим адресом Музей исполнил бы общественный и служебный долг, требуемый манифестом. Не можем не спросить увлеченных чуждыми русской жизни началами, что лучше: равнодушие ли к вражде или печалование о всякой розни, то есть — неделание или Православие?»

* Эти мысли Николай Федорович писал во время Высочайшего приезда в Москву на Пасху²³.

Отсюда можно представить, как скорбел Николай Федорович о всяких беспорядках и особенно о современном положении университетского вопроса, которое он метко назвал «эмбриократией».

Но можно ли перечислить все разнообразие и глубину мыслей Николая Федоровича? Они глубоки как море. Я набрасываю лишь то, что вспоминаю. Пусть же до конца моя памятка останется крипицами воспоминаний.

Совершенно естественно, что привлекательная личность Николая Федоровича вызывала вопрос: откуда взялся этот дивный старец и кто он такой?

В ответ на этот вопрос можно назвать его только Мелхиседеком, прошлое которого осталось загадкой²⁵. Воспитывался Николай Федорович в Тамбовской гимназии и Ришельевском лицее в Одессе, откуда вышел в 1852 году. Дальше шла его учительская служба в городах: Липецке, Богородске, Угличе, Одоеве, Богородицке, Боровске, Подольске, откуда уволился от службы по прошению, по болезни, 23 апреля 1868 года²⁶. Приблизительно с этого года началась его служба вместе с П. И. Бартеневым в Чертковской библиотеке в Москве²⁷. Здесь началось и знакомство с Николаем Федоровичем представителей русского образованного общества. Отсюда же он перешел на службу в Румянцевский Музей в 1874 году, где еще больше упрочилась его известность и слава.

Вот вся несложная история жизни Николая Федоровича. Всякие попытки приподнять завесу над его детством и юностью никогда не имели успеха. Лишь теперь, после кончины его, стало несомненным, что он москвич по происхождению...²⁸

Более подробные сведения, по-видимому, можно будет установить и с несомненностью, и в скором времени.

Я заканчиваю свои воспоминания пожеланием, чтобы все знавшие Николая Федоровича внесли свою посильную работу в дело увековечения его памяти в истории русского просвещения умственного и нравственного, и чтоб его творения увидели свет непременно и исключительно из-под руки В. А. Кожевникова, которому покойный и завещал их и который долго стоял ближе всех к Николаю Федоровичу и к его учению. Он один только в состоянии соорудить достойный нерукотворный памятник Николаю Федоровичу.

Да исполнятся и на земле ожидания Николая Федоровича, как, мы веруем, уже исполнились для него его загробные упования.

